

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**Я** написал очерки моего детства сравнительно быстро, чему способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, неожиданно появилась избыточность свободного времени, вызванная досадным разрывом непрерывности в моей профессиональной научной работе из-за экономического кризиса 2009 года. Во-вторых, оказалось возможным использовать некоторые старые заготовки из книги «Письма близким из XX века». И, наконец, в-третьих, мой двоюродный брат Леонид прислал несколько почти готовых отрывков воспоминаний о нашей жизни в эвакуации — спасибо ему за это огромное.

Очерки писались легко, но трудность заключалась в постоянной и назойливой тревоге — не скучно ли все это? Одна моя добрая знакомая из Германии — поэтесса, женщина с тонким литературным вкусом, прочитав набросок первой главы, была откровенно разочарована. Она деликатно упрекнула меня в том, что, взявшись за рассказ о своем детстве, я вместо этого описываю «общеизвестные», по ее выражению, исторические факты, не имеющие ко мне и моему детству никакого отношения. Я вяло оправдывался тем, что, мол, история, творившаяся на улице моего раннего детства за 20 и более лет до моего рождения, напротив, имеет самое непосредственное отношение ко мне, что я не могу рассказать о своем раннем детстве на Тверской улице в Санкт-Петербурге, не упомянув, что наш дом располагался напротив Башни Вячеслава Иванова, равно как и того, почему я в зрелые годы блуждал, как фанатик, вокруг этой Башни. Не мыслю — утверждал я в свое оправдание — описания своей и своих близких жизни без самостоятельного, подчас отличного от общепринятого, осмысления тех исторических

событий, на фоне или в гуще которых эта жизнь протекала. Кроме того — писал я моему доброжелательному критику — по моим наблюдениям, «общеизвестные» факты, на самом деле, отнюдь не являются такими уж общеизвестными, и не грех напомнить о них тем, для кого до этих фактов такая же дистанция, как до Куликовской битвы.

Понимаю, что все эти оправдания выеденного яйца не стоят, если читатель сам, без моей натужной подсказки, не увидит и не почувствует естественной связи между историческими событиями и моей жизнью, если все это покажется ему неинтересным и скучным...

Я, вместе с тем, ясно осознаю, что детство любого человека есть не более, чем детство — из него самого по себе многого не выжмешь. Детство человека становится интересным через описание окружающих его взрослых, через их характеры и отношения... Меня в детстве окружали близкие мне, красивые, умные, талантливые люди, но среди них не было знаменитостей, чья биография была бы интересной для всех...

Впрочем, разделение людей на знаменитых и незнаменитых всегда условно и ненадежно. Мои старшие двоюродные братья, жившие со мной рядом во времена моего раннего детства, стали выдающимися учеными в медицине и математике — считать ли, что я пишу о знаменитостях, когда вспоминаю их отроческие проделки? Другой пример еще более выразителен. В годы войны я жил с мамой в эвакуации в поселке Сорочинск Бузулукского района Чкаловской области (ныне Оренбургская губерния). В том же Бузулукском районе, в деревне Воронцовка, в те же военные годы и тоже с мамой жил мальчик моего возраста — Володя Высоцкий. Я мог бы играть в детские игры с будущим великим поэтом и актером, если бы легкомысленная Фортуна из-за повязки на глазах не совершила промашку всего в несколько десятков километров. Тем не менее, вопрос остается открытым — следует ли мое описание нашего унылого быта в эвакуации считать воспоминаниями о безусловно сходных условиях раннего детства Владимира Высоцкого?

Оставляя за скобками подобную казуистику, неоднократно задавал я самому себе вопрос — можно ли в рам-

ках публицистики, в рамках очерка заинтересовать читателей несенсационными биографическими фактами и коллизиями из жизни незначительных людей? Вообще — имеют ли право на существование мемуары незначительностей? В «Письмах близким из XX века» и в данных очерках содержится попытка ответить на эти вопросы положительно. Получилось ли — не знаю, ибо, перефразируя слова поэта, поражение от победы я сам не вправе отличать.

Тем не менее некоторые существенные обстоятельства влекли меня написать о своих детских годах несмотря на все сомнения и тревоги, и главное из них — это бесспорная уникальность времени моего детства. Вправе ли я предать такое забвению — судите сами...

Первое десятилетие моей жизни, с 1937 по 1947 год, совпало с тяжелейшим — подчеркиваю, тяжелейшим и страшнейшим десятилетием в писаной истории человеческого рода. Любое другое десятилетие было лучше — проверьте и убедитесь в этом. Еще раз говорю со всей ответственностью — худшего десятилетия в истории не было и, надеюсь, не будет...

То, что вытворяли сталинские палачи в подвалах Лубянки в центре Москвы, в Катинском лесу под Смоленском, в поселке Барбыш под Самарой, в Колымских каторжных рудниках, в тысячах других мест массового внесудебного убийства людей не имеет исторических аналогов ни по масштабам, ни по бесчеловечной жестокости исполнения.

То, что вытворяли гитлеровские палачи в Бабьем яру на окраине Киева, в Освенциме и Бухенвальде, в тысячах других мест массового истребления людей, в том числе малых детей, не имеет исторических прецедентов и находится вне возможностей восприятия человеческой психикой.

Большая часть первого десятилетия моей жизни, ровно шесть лет, приходится на Вторую мировую войну — крупнейшую и самую кровавую войну в истории человечества, обреченную предвоенными преступлениями гитлеризма-сталинизма и послевоенной всеобщей разрухой. Уместно напомнить «общеизвестные» факты: в войну оказалось вовлечено 62 государства, на территории которых

проживало свыше 80% населения Земного шара. Военные действия охватили территории 40 государств, погибло по некоторым оценкам до 70 миллионов человек, а сколько сотен миллионов было искалечено и обездолено — посчитать невозможно.

Что касается российской истории, то десятилетие 1937–1947 годов является самым-самым по всем возможным критериям величайшей народной трагедии.

Это десятилетие является самым кровавым и бесчеловечным по количеству убитых, раненных, изувеченных, обмороженных, обгоревших, контуженных, плененных, повешенных, расстрелянных, удушенных, замученных, забитых, умерших от голода и холода, незаконно арестованных, осужденных на каторгу и репрессированных невинных людей за всю историю России с древнейших времен и до наших дней.

Это десятилетие является самым насыщенным по количеству и жестокости преступлений правящей верхушки по отношению к своему народу за всю историю России.

Это десятилетие не имеет равных по количеству разрушенных, сожженных и стертых с лица земли советских городов и деревень.

Это десятилетие не имеет равных в истории России по количеству уничтоженных, разграбленных и разоренных бесценных памятников культуры и искусства.

Это десятилетие не знает равных по масштабам экономической разрухи, нищеты и обездоленности народа за всю многовековую историю России.

Можно привести по всем этим пунктам «общеизвестные» цифры и факты — они обширны, чудовищны и не уместаются в сознании нормального человека...

Можно ли утаить от потомков рассказ о детстве, пришедшемся на это самое-самое десятилетие?

Конечно, есть огромное море литературы о жизни людей в том десятилетии, но я полагаю, что должен добавить свою каплю в это море — очень частную историю существования моей семьи в те годы, кажущиеся издалека, с высоты исторических обобщений, малопригодными и даже невозможными для жизни. Банальность бытия, однако, заключается

в том, что человек живет, работает, учится, любит, размножается и даже творит в, казалось бы, невыносимых условиях, в которых другие живые объекты природы существовать не могут... Варлам Шаламов писал об этом в «Колымских рассказах»:

*«Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется, да так, наверное, оно и есть на самом деле, что человек потому и поднялся из звериного царства, стал человеком, то есть существом, которое могло придумать такие вещи, как наши острова со всей невероятностью их жизни, что он был физически выносливее любого животного... Лошадь не выносит месяца зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. А человек живет. Может быть, он живет надеждами? Но ведь никаких надежд у него нет. Если он не дурак, он не может жить надеждами... Но чувство самосохранения, цепкость к жизни, физическая именно цепкость, которой подчинено и сознание, спасает его. Он живет тем же, чем живет камень, дерево, птица, собака. Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливее любого животного».*

«Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже» — добавлял Варлам Тихонович о своей Колымской каторге. Он выжил в круге, что глубже самого дна дантова ада — ледяного пруда Коцит с впаянными в лед грешниками. Он, безгрешный, выжил в последнем круге советского ада, глубже которого уже, кажется, и быть ничего не могло. Выжил, «цепляясь за жизнь крепче», чем «камень, дерево, птица, собака», выжил, да благословен промысл Божий, чтобы свидетельствовать с дантовской мощью — это было! Варламу Тихоновичу Шаламову выпала редчайшая судьба и миссия — вернувшись живым с самого дна советского ада, рассказать людям о сталинских концла-

герях «со всей невероятностью их жизни». Тем же, кому повезло жить в те годы вдали от шаламовского ада, следует попытаться рассказать о чистилище, предварявшем ад, о том советском зеркальном отражении лагерной жизни, в котором, вопреки логике, мерцала надежда...

*«Находился я на Дальнем Севере с августа 1937 года по октябрь 1951 года... «Документов не сохранилось» — такая у меня есть справка», — так обыденно пишет о годах своих невероятных мучений и страданий выдающийся писатель-гуманист. Помню, как ошеломила меня эта фраза — ведь это точно годы моего детства. И есть немало таких «деятелей», кто хотел бы, чтобы ни документов, ни воспоминаний о тех годах не сохранилось.*

Есть еще один мощный побудительный мотив написания этих очерков, невзирая на все сомнения.

По опыту своей жизни знаю, как мало мы в молодости интересуемся своими родителями, как мало в итоге знаем о них, как жалеем о непознанном и неузнанном после того, как они уходят... О дедушках и бабушках, что на горизонте нашего исторического видения, иногда узнаем что-либо, чаще смешное, от родителей, которые, на самом деле, тоже почти ничего не помнят... Ну, а о прадедушках и прабабушках и говорить нечего — как правило, мы и имен-то их не знаем... Винить во всем этом одних лишь молодых людей было бы несправедливо, ибо их предки не озаботились оставить о себе мало-мальски подробные сведения в доступном для хранения, например, письменном виде...

В свое время, после смерти родителей, поняв все это и ощутив холод пустоты за спиной, ужаснулся я и стал лихорадочно, по крупицам собирать остатки сведений о своих предках...

Горжусь, что раскопал, а частично и опубликовал историю своей семьи вплоть до моих прадедов, рад, что спас от забвения велижских резников Мовше и Исаака Окунева, любавичского раввина Давида Якобсона, витебского лесопромышленника Исая Шмерлинга, счастлив передать их образы и духовное наследие своим детям и внукам, счастлив

открывшейся возможности рассказать им об их пра- и прапрабабушках — витебских и любавичских красавицах прошлого и позапрошлого века...

Отныне мои внуки будут знать о своих пра-пра-прародителях и, надеюсь, передадут память о них следующему поколению — поколению Пра-Пра-Пра-Правнуков!

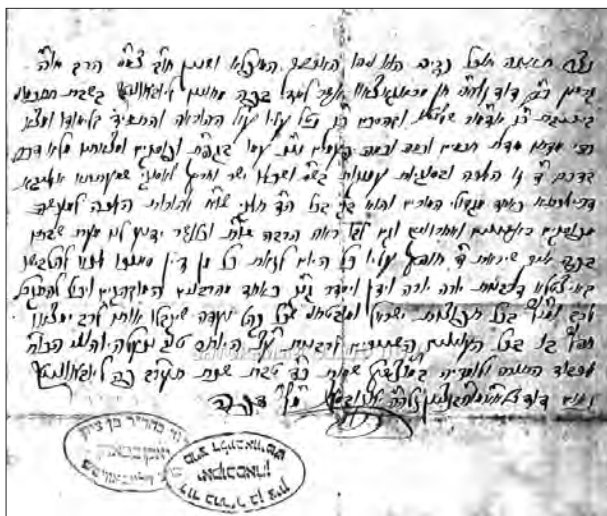
Каково?

Ну, а теперь чуточку и о себе самом — для связи времен...

Все сомнения и оправдания — в сторону, ибо пишу я, на самом деле, для самого себя, а остальных, кто пожелает, приглашаю в собеседники...



Прадед Мовше Окунев (185?–1914)  
Велижский резник  
г. Велиж, конец XIX века



Прадед Давид Якобсон (1852–1923?), сын Рабби Бенциона Якобсона,  
раввин города Любавичи, назначенный на этот пост в 1882 году Главным  
раввином Любавичских хасидов — Реббе Самуилом Шнеерсоном

Фото не найдено. Приводится копия рекомендательного письма Давида Якобсона,  
написанного им собственноручно в г. Любавичи 14 января 1912 г. (копия любезно  
предоставлена Аароном Лейбом Раскиным, Бруклин, Нью-Йорк)



Дедушка и бабушка  
Исаак Окунев (1876–1942), велижский резник, сын Мовше Окунева.  
Раиса Окунева/Якобсон (1881–1936), дочь Давида Якобсона.  
*г. Ленинград, предположительно 1931 год*



Дедушка и бабушка  
Исай Шмерлинг (1879–1945), витебский лесопромышленник.  
Роза Шмерлинг/Бельчикова, (1886 –1934)  
*г. Витебск, 1911 год*



Папа и мама  
Борис (Бенцион) Окунев (1909–1976)  
Бетти Шмерлинг (1911–1993)  
*Вторая половина 1930-х годов*

## ГЛАВА 1

### ЛЕНИНГРАД, ТВЕРСКАЯ УЛИЦА: 31 ДЕКАБРЯ 1937 ГОДА

*«Тверская улица в Санкт-Петербурге проходит от Таврической улицы (и Таврического сада) до площади Пролетарской Диктатуры. Примерная длина улицы — 660 м, на улице 31 дом. С 1770-х по 1859 называлась Офицерская улица. Основная застройка — конец XIX-начало XX века».*

Электронная энциклопедия  
«Википедия», 2009

**М**ногие мемуары традиционно начинаются указанием дня, года и места рождения автора. Так случилось, что мои даты не совсем обычные — я родился в полночь последнего дня страшного года Большого террора, то есть 31 декабря 1937 года.

Годы моего детства пришлось на самое жуткое и кровавое десятилетие истории России с древнейших времен и до наших дней. Его начало совпало со временем Большого сталинского террора, которому нет аналогов в кровавой мировой истории. Когда мне было неполных 2 года, Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую войну, длившуюся 6 лет. В то время моего отца отправили рядовым солдатом на советско-финляндскую войну — сравнительно короткую, но чрезвычайно кровавую бойню, организованную Сталиным. Когда мне исполнилось 3 с половиной года, Гитлер напал на Советский Союз и началась четырехлетняя Великая

Отечественная война — ничего подобного по масштабам жестокости и разрушительности не знали ни российская, ни мировая история. Послевоенная всеобщая разруха и нищета завершили первое десятилетие моей жизни.

Моя мама — Бетти Шмерлинг — приехала в Ленинград из Витебска 18-летней девушкой в 1929 году с намерением получить высшее образование. Это, однако, оказалось невозможным — для поступления в ленинградский ВУЗ требовалось либо пролетарское происхождение, либо, по крайней мере, 4-х летний рабочий стаж. Поскольку пролетарское происхождение отсутствовало, она нанялась работницей на завод «Светлана», где проработала до 1933 года. Заработав пролетарскую предысторию, мама поступила в 1934 году в Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ). В том же году она вышла замуж за моего папу Бенциона Окунева, которого, полагаю, интересовало отнюдь не ее социальное происхождение...

Мама рожала меня в Родильном доме № 6 на улице Маяковского в Ленинграде — в знаменитой Снегиревке. Она была тогда студенткой последнего курса ЛИКИ, из-за экзаменов не легла своевременно в больницу, и в родах у нее случилось тяжелое осложнение — эклампсия. Мама рассказывала, что потеряла сознание в 1937 году, а пришла в себя уже в 1938, когда мне было несколько часов от роду. «Если бы не потеря сознания, я бы записала тебя 1938 годом, и ты был бы на год моложе» — шутила она впоследствии.

Первые три с половиной года своей жизни я прожил с родителями в коммунальной квартире на Тверской улице.

Слова «коммунальная квартира» понятны только тем, кто жил в Советском Союзе, ибо это уникальное явление советского социалистического быта не известно другим народам. Когда знаменитый булгаковский герой Воланд из романа «Мастер и Маргарита» утверждал, что москвичей испортил «квартирный вопрос» — он имел ввиду коммунальные квартиры, кратко именовавшиеся коммуналками. Ленинградцев тоже испортил квартирный вопрос, ибо они жили в коммуналках на протяжении полувека. Это чудовищно, но многие москвичи и петербуржцы живут в них и сейчас, в начале XXI века. Тем не менее советские люди из провин-